

К ОНТОЛОГИИ ЗАЗЕРКАЛЯ

Виктор Визгин

В зеркале фаларийского быка

Однажды прихватила меня «простуда» — вспоминать и думать о Мерабе Мамардашвили. Да, есть тому и элементарное «медицинское» объяснение: перед сном раскрыл последний номер «Вопросов философии» и стал читать интервью Мераба его французской собеседнице*. Вот вам и «вирус». Но пусть объяснение есть, но «вляпываться» в него по уши не надо. Дело в том, что по поводу и в связи с Мерабом существует как бы НЛО, некое оставленное им облако, аура, что-то даже вроде тарковского соляриса — мыслящего чувствами и чувствующего мыслью существа, которое вьется во мне и вокруг и может запросто вызвать «простуду» и без видимого «вируса». Явление это вполне объективно, нам с ним ничего поделаться нельзя, хотя и многое, казалось бы, можно: например, напивавшись им, написать мемуар, попробовать потеоретизировать, пустив ростки в гуманитарный гумус или в чистую философию... Но что бы мы ни проделывали с этим как бы пришельческим облаком, с этим упорно держащимся на ветру бытия или становления метеоявлением мысли, оно так и останется пребывать в себе, храня свою тайну. И тайна его самодержавия, кажется в том, что лицо, в нем поселившееся, действительно оттуда, где формы не стареют, где присутствует не та или иная традиция, а просто ТРАДИЦИЯ как таковая, или, как говорил Мераб в упомянутом интервью, традиция БЕССМЕРТИЯ.

* Мамардашвили М.К. Мысль под запретом (беседы с А.Э.Эпельбуэн) // Вопросы философии. 1992. №5.

Вижу я картинку, края которой, если позволить глазу лениться, будут очень лохмато порванными выглядеть, загромождая вид, так сказать, вид дальнейший. Но если стараться, если охотиться за мыслью с достаточным упорством, с «персеверацией», как мог бы сказать Мераб, большой знаток и любитель словарей и языков, если держать начатую мыслеохоту или охоту к мысли, которая и есть охота-на-мысль как на диковинного зверя (только она его не убивает, а спасает), так вот, если упорно преследовать этого диковинного зверя, обитающего на «лесных тропах» той самой ТРАДИЦИИ, если держать непойманное и дерзать тем самым в усилиях хотения-охоты, то можно будет расширить горизонт видимости у этой картинке, проявить сокрытое, мгновенно зафиксировав увиденное фиксажем слова, всегда спешащего не упустить эволюции развертывающегося вида. И последнее замечание перед рассказом о самой картинке, которую я созерцаю. *Со-зерцаю*. Смотрю в оба, ибо смотрю не одним глазом, а двумя? Или смотрю с кем-то еще и поэтому со-зерцаю? Во всяком случае в слове этом звучит соглядение, совместное узревание. Кого с кем? Может быть, зрящего с самим зримым? *Глаза* (образно, не физиологически выражаясь) с предметом зрения? А может быть, человека с человеком? Или даже человека с Богом? Да, видимо, надо предположить, что все эти «двойники» соучаствуют в акте созерцания, сопрягаются в его единство. Во всяком случае оно никогда одиноким не бывает.

Картинка же такова: в воздухе имманенции идут фигурки, а их тени, лежа, по-пластунски, ползут в соответствии с их движением. Картинку движущихся фигурок можно вывести на экран теней, а можно и на стоящее рядом зеркало. В этом случае их изображения будут своего рода их зеркальными «теньями». Кстати, зеркало было одним из любимых, интеллектуально насыщенных, образов или «предметов» у Мераба. Отражения, тени, обмен левого и правого, сами эти явления, область зазеркалья и прочее — все это было источником самых различных продуктивных метафор для приключений мысли. В конце концов, в зеркале можно увидеть само зеркало, но тогда в нем мы перестаем воспринимать саму его зеркальность. Зеркало ведь есть зеркало лишь постольку, поскольку оно представляет не себя, а другое. Когда зеркало работает как зеркало (тогда оно им и является), мы его не видим, а когда видим, то оно уже не зеркало, а обычная физическая вещь. Получается, что зеркало — вещь-с-самоустраниением, которое и

происходит, когда она погружается в безотносительность к другому, то есть возвращается к себе. Иными словами, зеркало — вещь чисто функциональная и поэтому может служить образцом культурного предмета как такового.

Посмотрим теперь на картинку в зеркале. Зеркальные фигурки движутся в зеркальном воздухе. Это уже не фигурки, а видики их. Странники и их тени. Обратим внимание на одно характерное обстоятельство: слева направо по ходу движения фигурок растёт, скажем так, статистический вес теней по отношению к тому, что их отбрасывает. Перебросим эту характеристику театра теней на театр зеркал. Тогда мы имеем право говорить о своего рода прогрессирующей «пигмалионизации» изображений. В пределе можно «втюриться» в свое или чужое изображение. И где-то в критической точке происходит инверсия. Qui pro quo: изображение (тень) оживает, причем само живое существо, его отбрасывающее, становится изображением (тенью). Переворачивание, инверсия, обмен — без этого нет не только сказок, но и философской мысли.

В той точке, в которой жизнь становится тенью, приходится говорить о зоне смерти. Она возникает вместе с трансценденцией. Зона имманенции — одноместна: в ней возможно только здесь-присутствие. Не-здешнего нет даже не-здесь, ибо в зоне имманенции все «там» помещено «здесь». В этом смысле имманенция «одноместна», есть местность одного только «здесь» без «там». Это — одноместность непрерывная, без срывов. Так сказать, гладкая. Поэтому зона имманенции «прозрачна»: инобытия различного от бытия нет. Трансцензуса, перехода в иное нет, так как для Другого просто нет места. Оно не-у-местно в мире имманенции. У-топично. Ницшевский полдень посюсторонности. Святящаяся односторонность самопронзающего света. На языке науки это означает как бы постулирование в сильной форме законов сохранения материи, массы, массы-энергии и т.п., то есть того, что составляет субстанцию или «тело» имманентности как здесь-мира.

Прозрачность означает, что допускаться в ее зоне, то есть в мире имманенции, может только то, что уже допущено, что уже есть: со-крытое тело имманентного мира рас-крывается. В таком раскрытии действует механизм прозрачного для себя акта — мысли, действия в этой зоне. Глядя на нашу исходную картинку, мы скажем, что речь идет о верхней части картинке, той, в которой движутся сами фигурки, странники, а не их тени (изображения).

В мире имманенции возможен только переход, только трансформация, подчиняющаяся закону *ex nihilo nihil fit*. Досократическая философия, к которой повернулись Ницше и Хайдеггер, есть философия имманенции. Атомизм реализовал почти науч-

ный, механистический вариант мира имманентности. В мире олимпийской мифологии трансценденции тоже не было, надо было только этот мир предельно рационализировать, заменив богов на законы механики атомов. И – никаких «проколов», никаких «прорывов», никаких не-сохранений: *ex nihilo nihil fit*. Единое бытие имманенции как бы само в себе «колышется» и при этом ни единого эрга его энергии не теряется: все превращения суть автоморфизмы со стопроцентным КПД.

Тайна трансценденции в том, что нагружается значением тень. Это делает сам странник, ее виновник. В мире атомов, в царстве геологии и астрофизики все иначе. Здесь действуют законы сохранения, принципы симметрии кажутся достаточными для того, чтобы интеллектуально продуцировать явления, «спасать» их. Животное отбрасывает тень, но она для него лишена значения и символом не является: хороводов вокруг тени оно не водит, мистерий не создает. Это делает только человек. О трансцендензе природы в человеке благодаря символу Мераб много и по-своему говорил: тема эта не новая в философии XX века.

В философии полную инверсию ситуации с зеркалом и тенью совершил Платон. В его диалоге «Государство» в знаменитом «мифе о пещере» фигурки, шествующие в мире имманенции, были осознаны, помыслены как тени, а тени – как настоящие, то есть БЕССМЕРТНЫЕ фигуры. Солнце Платона поэтому – «черное солнце». Соответственно ницшевский полдень по-платоновски – полночь. Солнце здесь-стоящего дня – тень «черного солнца», там-солнца.

Вместе с рождением трансцендентного мира был дан и способ его истолкования – не через имманентные законы сохранения, а через причастность вещей, освещаемых здешним солнцем, вещам в открывшемся трансцендентном мире. Тем самым принцип *ex nihilo nihil fit* инвертировался в принцип *ex nihilo omnia fit*. Человек как бы залез в полость своей собственной тени и, находясь там, сам стал себя извне поджаривать на огне. Этот образ казни в фаларийском медном быке, о котором сообщают нам греческие доксографы, Мераб не раз вспоминал и по-своему использовал. «Вы сгораете, – говорит он, продолжая рисовать картину этой казни, придуманной одним из греческих тиранов – будучи закованы в Ваш собственный образ»*. Мы можем сказать, перефразируя известное высказывание Ж.-П.Сартра (Мераб здесь повторяет виановскую шутку, называя французского философа Жаном-Солем Партром, сейчас эта шутка уже лишена соли) о том, что «ад – это другие», сказать: ад – это костер, разложенной под

* Указ. соч. С. 101.

нашей «медной» интерпретацией другими, костер нашей истолкованности другими в «медном» образе, раскаленном от его окончательности и безапелляционности. Кстати, Камю, шедший одно время в одной, левой, упряжке с Сартром, в «Падении» описал эту ситуацию, когда аргументом в споре интеллектуалов выступает в конце концов полицейский: прав тот, кто сможет его привести к своему оппоненту. Так вот, мы пляшем от боли, обугливаемые нашей истолкованностью другими в своем и не-своем медном образе. Кстати, нас «поджаривает» в равной мере как чрезмерно решительная и окончательная истолкованность нас другими, так и столь же решительный их отказ вообще нас понимать и, значит, истолковывать. Полное отсутствие интереса к нам ничуть не менее болезненно для нашего самолюбия, чем завершившийся неколебимо прочным результатом интерес.

Искусство естественным образом избегать этих разрушительных крайностей, оставаясь в зоне теплого дружеского расположения, уважения, даже доверия и непринужденной заинтересованности, на вас обращенных, вот что прежде всего характеризовало Мераба в его отношениях к людям. Интерес к человеку, лично к вам, у него удерживался постоянно, не погашаясь ни в результирующей прочной истолкованности, ни в равнодушии его отсутствия. Эту черту Мераба можно обозначить как художественно артикулированный персонализм, аристократизм вкуса, светскость в лучшем светлом смысле этого слова. Мераб уже одним своим присутствием с вами рядом как бы приглашал вас к вашему же, естественному для вас росту, росту в совместности, соучастии, беседе...